

Широкое, от стены до стены, окно изостудии выходило в парк — за ним крупными липкими хлопьями сыпался снег, горел в свете фонарей, гнул черные голые ветви. Еще не было и шести, но уже стемнело, и казалось, что за окном — ночь.

— Пошли, пошли, — кто-то пихнул меня в плечо. — Хватит уже.

Занятие окончилось, все суетились в предвкушении чая, бегали с ложками, блюдами, искали вазочки под конфеты, Галина Ивановна командовала самоваром, а я сидел за рабочим столом, весь в глине, с закатанными рукавами, и лепил пегаса.

Пегас выходил первоклассным — с крепкими, мускулистыми ногами, раздутыми ноздрями, рассыпающейся гривой. Брюхом он лежал на столбике-подставке, но всей позой изображал стремительность и легкость полета, хотя и был пока похож на обыкновенную лошадь — широкие, в перьях, крылья лежали рядом.

Ни над кем я не корпел так долго, ни к кому не подходил с таким старанием — мне даже не верилось, что его слепил я, и я продолжал ковырять стеклом перья,

выравнивать гриву, скрести копыта. Пегасу требовалось еще несколько штрихов, а потом — обжиг, приклеивание крыльев, грунтовка, краска и, если выйдет неплохо — а выйдет отлично! — лак и почетное место на полке.

— Вот здесь поправь, пожалуй, — сказала, склонившись, Галина Ивановна и ногтем приподняла пегасу бровь.

Потом она осторожно подхватила его, выпрямилась.

— Красавец! Сивка-бурка!

Она вернула пегаса на стол и посмотрела на меня.

— Все, все, достаточно, иди мой руки.

Чайный стол уже ломился от угощений, в его центре сиял самовар — электрический.

— Хорошо, — сказал я. — Только сейчас вот...

И я зубочисткой полез пегасу в ноздрю.

В коридоре поднялся шум — уходили домой шахматисты. За стеной заиграла музыка.

— Хватит сидеть! — крикнули мне от стола. — Ко-невод!

И все — даже девочки — захохотали. Я показал им язык, проскрипел стулом, отодвигаясь, и посмотрел на пегаса — выходило, что лучше я еще ничего не лепил.

Кто-то запнулся о ножку моего стула, на пол посыпались конфеты «Майская ночь».

— Юноша, — строго окликнула меня Галина Ивановна, пытаясь стянуть с банки абрикосового варенья крышку, — прошу за стол.

— А его куда? — показал я на пегаса.

Галина Ивановна кивнула на шкаф — это означало, что работа окончена, пегасу предстоит несколько дней постоять, просыхая, на верхней полке, а потом его ждет печь.

Я снял пегаса с подставки, отнес в шкаф, осторожно опустил на перину из целлофана, рядом положил — одно к другому — крылья. От пегаса терпко пахло глиной, он весь был темно-серый и блестящий.

Рядом с ним ждали своего часа другие игрушки, чужие; была и лошадка, но она ни в какое сравнение не шла с моим красавцем.

Потом я убрал со стола стеки, зубочистки, кисточки, взял плоску с мутной глиняной водой и прошел в крошечную комнатку в углу студии.

Половину комнатки занимала печь, воздух тут был сухой, спертый. У двери стоял умывальник. Я опрокинул в него плоску, сполоснул, примостил на ободке раковины и стал мылить руки, поглядывая при этом на огромную, пугающую печь, в которой податливая серая глина превращалась в шершавый бурый камень.

— Будь добр, открой форточку!

Я вышел из комнатки, вытирая руки о свитер, взобрался на стул и дернул форточку — по пальцам хлестнуло холодом, на подоконник упали белые хлопья, тут же растаяли.

Сквозь парк, сквозь снежную пелену долетел до меня низкий гудок поезда, я присмотрелся и разглядел за высокой оградой синие звездочки железно-дорожных огней. В парке было безлюдно, широкие белые дорожки разбегались в стороны и терялись за деревьями.

— Молодые люди! К столу!

Я спрыгнул на пол, подмигнул отдыхающему на полке пегасу, прокрался через лес из мольбертов и сел с краю, перед вазой с «Майской ночью».

— Чашки, пожалуйста!

Вокруг самовара столпились низенькие фарфоровые чашки. Галина Ивановна по одной подсовывала их под краник, самовар шипел, фыркал паром. Все притихли в ожидании, я жевал третью конфету и мял фантики под столом.

Эту часть студии Галина Ивановна отвела под музей, и вокруг нас блестели стекла стеллажей, а из блеска выглядывали десятки игрушек. Кого тут только не

было! Лошади, кошки, собаки, петухи, голуби, чайки, тигры, медведи, волки, зайцы, люди, неведомые сказочные существа — и у каждого своя история, каждого кто-то слепил, каждый прошел через комнатку с печью.

В прошлом году праздновали юбилей Пушкина, и в углу раскидывал широкую крону дуб зеленый — наша гордость. Тоже — глиняный. По глиняной цепи ходил глиняный кот, сидела на глиняных ветвях глиняная русалка с глиняным хвостом. И на стенах — Пушкин, Лукоморье, пряничные терема, блестящие шлемы витязей. Картин так много, что им мало места в студии: висят по всему этажу — и в коридоре, и на лестнице.

Зазвенели ложки, захлопало варенье.

— Весной, — объявила Галина Ивановна, — отберем выставку в музей Ткачевых.

Поднялся гул.

— Братъ будем новое, в основном — глину.

Я обернулся и нашел взглядом шкаф с пегасом. Свет в студии погасили — только над чайным столом горела лампа, — и шкаф терялся в полумраке. Все терялось в полумраке — сдвинутые столы, стеллажи, мольберты. И только страшные гипсовые головы белели у стены — лысые, носатые. Парк мерцал, снегопад усилился — кружил вихрями, сворачивал спирали, снег сыпался со всех сторон, даже снизу вверх, и казалось, что он не летит с неба, а просто клубится, как клубятся кусочки пенопласта в стеклянном шаре.

— Какая в этом году зима! — вздохнула мечтательно Галина Ивановна и улыбнулась. — Обязательно пойдем с вами на природу, писать зиму. Сказочная зима!

Я пригрелся, цедил чай, конфет в вазе почти не осталось, а еще хотелось и абрикосового варенья зачерпнуть — дотянуться бы до плоски. Я снова обернулся на шкаф — как там мой пегас? Не стоило ли слепить подковы? Но кто же может подковать пегаса? Нет, не надо подков — и без подков очень хорошо, просто замечательно. Если его не возьмут в музей Ткачевых, то я не знаю, кого возьмут.

Я вспомнил, что моего бегемота в прошлом году брали на выставку в школу — а бегемот куда слабее пегаса, хотя, конечно, хорош, очень хорош — с широко раскрытым ртом, желтыми пеньками-зубками и болотно-зеленой кожей под слоем прозрачного блестящего лака.

Потом я опять стал думать про пегаса, и в мыслях он уже не был глиняным — он бежал по полю, высоко выбрасывая свои мощные колени, и медленно, как бы нехотя, взмахивал белоснежными крыльями. Летели из-под копыт комья земли, клонилась от ветра трава, грива трепетала и развевалась.

Трава оборвалась — и пегас, вытянувшись в стрелу, полетел над пропастью.

— Повторяю в сотый раз, — объясняла Галина Ивановна. — Мария Клавдиевна Тенишева никогда не жила в этом доме. Она подарила его рабочим — под общественное собрание.

Среди мальчишек ходила легенда о том, что здание ЦВР раньше было личным особняком княгини Тенишевой, что по утрам княгиня любила выходить на левое, не используемое ныне крыльцо с чашечкой кофе и что теперь на этом крыльце можно встретить ее призрак.

— Но Крахт жил!

— Крахт, да, жил, — согласилась Галина Ивановна.

— Значит, это может быть его призрак!

Галина Ивановна покачала головой.

— Крахт уехал в Смоленск и умер там.

Мальчишки притихли.

— Но жил ведь! Может, его душа тоскует по этому дому!

И они хором стали доказывать, что призраку проделать путь из Смоленска в Брянск — проще простого. — Галина Ивановна, — пропищал тонкий голосок.

— Да, Анечка?

— А правда, что в нашем парке жили павлины?

— Да, Анечка, правда. И цесарки, и индюки.

— А кто такие цесарки?

Галина Ивановна закусила тонкую губу, нахмурилась, вспоминая, потом встала, открыла один из стеллажей и осторожно выудила из дальнего угла глиняную фигурку. Фигурка представляла собой пузатую, серую, в белых крапинках птицу с крошечной головкой, которую венчал гребешок.

— Вот, Анечка, это почти что цесарка. Мирная домашняя птица — но водится в основном в Африке.

Она поставила цесарку в центр стола, к самовару, и стала снова рассказывать о том, какими замечательными, удивительными людьми были Владимир Федорович Крахт и Мария Клавдиевна Тенишева, «чьим щедрым наследием мы с вами пользуемся по сию пору», как мы должны быть счастливы «жить здесь, творить здесь, открывать эти двери и смотреть в эти окна». Она говорила об истории, о связи всего со всем, о «сложном узоре бытия, открытом взору художника», о том, что сейчас мы, конечно, не можем понять всего, но можем многое почувствовать, пережить, и потом, в зрелом возрасте, это переживание будет «освещать нам путь».

А я сидел, раскисший от чая и конфет — которые почему-то закончились, — поглядывал на окно, на цесарку и представлял себе, как парит над горным хребтом белый силуэт пегаса, как отталкивается он от каменных выступов и из-под копыт у него вылетают искры, — мысли и впечатления мешались, и я уже видел, как Владимир Федорович Крахт, заселив-

ший только что разбитый парк экзотическими птицами, хлопочет о том, чтобы в парке «непреренно побывал пегас, хотя бы на один денек, хотя бы только приземлился и прошелся по аллее, на радость ребятишкам», — я видел все это и улыбался своим мыслям. И все остальные были тоже тихие, улыбчивые, все смотрели на Галину Ивановну, а она, подперев острый подбородок ладонью, мечтательно устремив взгляд вдаль, словно могла смотреть сквозь завешанную картинами стену, рассказывала, рассказывала и рассказывала. И казалось, что даже страшные белые головы у стены внимательно прислушиваются к ее словам — и что снег кружится медленнее, и часы над дверью тикают реже.

Я сидел, искал свое отражение в ребрах самовара, и мне было радостно и хорошо, и студию я ощущал совсем родной — а значит, каким-то образом и я имею отношение к людям, о которых так вдохновенно говорит Галина Ивановна, и к ней самой, и вообще к истории, а еще так уютно сидеть за столом, когда на улице метет, и знать, что бабушка встретит тебя в холле первого этажа, что вы с ней пойдете мимо сугробов и ты будешь убежать вперед, лепить снежки, швырять их во все стороны, а потом завалишься домой, весь в снегу, запыхавшийся, с красными щеками, и тебе нальют еще чаю, и дадут конфет, печенья, зефира, а снег все будет сыпать и сыпать.

Через каких-нибудь полчаса все чашки были вымыты, а все сладости — спрятаны в шкаф. Галина Ивановна провожала нас до двери, давала наставления, улыбалась, перебирала эскизы.

Она останется — обжигать те игрушки, которые уже высохли.

В коридоре было тихо, темнели у стен деревянные скульптуры. Мы топотали, толкались, хлопали друг друга по спинам, дергали девчонок за косы.

Напротив лестницы висела овальная фотография — молодая женщина с изящной прической, тонкие черты лица, серьги, два ряда белых бус. Княгиня смотрела внимательно, спокойно и немного грустно.

На лестнице меня проводила ласковым взглядом дама в шляпе — написанный мной портрет. У дамы были каштановые волосы, зеленые глаза, прямой ровный нос и ярко оранжевая щека — как от аллергии. Мне не давался телесный цвет, а щека была, что называется, в центре композиции — дама смотрела «в три четверти». Я нанес на ее щеку сто слоев краски, щека меняла цвет от свекольного до белого, но того, что нужно, не выходило.

А в холле меня ждала бабушка.

— Я закончил пегаса, — похвастался я.

Бабушка меня расхвалила, я влез в куртку, закутался в шарф, натянул шапку на глаза, и мы вышли в пестрый зимний вечер. Скрипел под ногами снег,

звенел звонок переезда, перед шлагбаумом тарахтели, выпуская в воздух клубы дыма, автомобили. Вдалеке стучали колеса поезда, где-то лаяла собака.

Зима выдалась очень снежной — сыпало до самого февраля, калитку приходилось каждое утро откапывать, и к вечеру ее снова засыпало.

Мой пегас несколько дней сох в шкафу, а потом — взорвался в печи.

Такое бывает, если из глины не выбраны дочиста все камушки — это первое, что нужно сделать, если вы собираетесь лепить игрушку, и скучнее занятия не сыскать — каждый камушек надо нащупать, подцепить ногтем, стряхнуть в блюдце. Покупной глины в студии отродясь не бывало, а в той, что в прямом смысле «лежит под ногами», — камушков пруд пруди. Я, видимо, был не слишком внимателен, отвлекался на что-то — вот один и пропустил.

Бывает, что, взрываясь, игрушка цепляет и своих товарищей по обжигу, но пегас, кажется, никому не навредил.

Конечно, я очень расстроился. Конечно, Галина Ивановна меня успокаивала и ободряла — «художник должен быть к такому готов», — но мне было горько и обидно.

Вероятно, с пегаса началось мое охлаждение к студии — какое-то время я еще посещал ее и даже слепил замечательную свинью-копилку — упитанную, веселую, с рыжим чубом и румяными щеками, ее взяли в музей Ткачевых, — но прежнего воодушевления не было. К тому же я рос, менялись мои увлечения и пристрастия, лепка стала казаться чем-то несерьезным, совсем уж детским. Я записался в манеж, на баскетбол, и очень скоро скрип подошв, стук мяча, шорох сетки, обхватывающей кольцо, вытеснили из моих мыслей глину, стеки, белила, блестящий лак, комнатку с печью — а с ними и узкие коридоры, стены с картинами, овальную фотографию, парк, удивительный каменный дом. Надолго вытеснили.

Надолго — но не навсегда.